## Купидон порционно

О. Генри

Перевод под ред. М. Лорие

— Женские наклонности, — сказал Джефф Питерс, после того, как по этому вопросу высказано было уже несколько мнений, — направлены обыкновенно в сторону противоречий. Женщина хочет того, чего у вас нет. Чем меньше чего-нибудь есть, тем больше она этого хочет. Она любит хранить сувениры о событиях, которых вовсе не было в ее жизни. Односторонний взгляд на вещи несовместим с женским естеством.

— У меня есть несчастная черта, рожденная природой и развитая путешествиями, — продолжал Джефф, задумчиво поглядывая на печку между своими высоко задранными кверху ногами. — Я глубже смотрю на некоторые вещи, чем большинство людей. Я надышался парами бензина, ораторствуя перед уличной толпой почти во всех городах Соединенных Штатов. Я зачаровывал людей музыкой, красноречием, проворством рук и хитрыми комбинациями, в то же время продавая им ювелирные изделия, лекарства, мыло, средство для ращения волос и всякую другую дрянь. И во время моих путешествий я, для развлечения, а отчасти во искупление грехов, изучал женщин. Чтобы раскусить одну женщину, человеку нужна целая жизнь; но начатки знания о женском поле вообще он может приобрести, если посвятит этому, скажем, десять лет усердных и пристальных занятий. Очень много полезного по этой части я узнал, когда распространял на Западе бразильские брильянты и патентованные растопки, — это после моей поездки из Саванны, через хлопковый пояс, с дельбиевским невзрывающимся порошком для ламп. То было время первого расцвета Оклахомы. Гатри рос в центре этого штата, как кусок теста на дрожжах. Это был типичный городок, рожденный бумом: чтобы умыться, становись в очередь; если засидишься в ресторане за обедом дольше десяти минут, к твоему счету прибавляют за постой; если ночевал на полу в гостинице, утром тебе ставят в счет полный пансион.

По убеждениям моим и по природе я склонен везде разыскивать наилучшие места для кормежки. Я огляделся и нашел заведение, которое меня устраивало как нельзя лучше. Это был ресторан-палатка, только что открытый семьей, которая прибыла в город по следу бума. Они наскоро построили домик, в котором жили и готовили, и приткнули к нему палатку, где и помешался собственно ресторан. Палатка эта была разукрашена плакатами, рассчитанными на то, чтобы вырвать усталого пилигрима из греховных объятий пансионов и гостиниц для приезжающих. «Попробуйте наше домашнее печенье», «Горячие пирожки с кленовым сиропом, какие вы ели в детстве», «Наши жареные цыплята при жизни не кукарекали» — такова была эта литература, долженствовавшая способствовать пищеварению гостей. Я сказал себе, что надо будет бродячему сынку своей мамы пожевать чего-нибудь вечером в этом заведении. Так оно и случилось. И здесь-то я познакомился с Мэйми Дьюган.

Старик Дьюган — шесть футов индианского бездельника — проводил время лежа в качалке и вспоминая недород восемьдесят шестого года. Мамаша Дьюган готовила, а Мэйми подавала.

Как только я увидел Мэйми, я понял, что во всеобщей переписи допустили ошибку. В Соединенных Штатах была, конечно, только одна девушка! Подробно описать ее довольно трудно. Ростом она была примерно с ангела, и у нее были глаза, и этакая повадка. Если вы хотите знать, какая это была девушка, вы их можете найти целую цепочку, — она протянулась от Бруклинского моста на запад до самого здания суда в Каунсил-Блафс, штат Индиана. Они зарабатывают себе на жизнь, работая в магазинах, ресторанах, на фабриках и в конторах. Они происходят по прямой линии от Евы, и они-то и завоевали права женщины, а если вы вздумаете эти права оспаривать, то имеете шанс получить хорошую затрещину. Они хорошие товарищи, они честны и свободны, они нежны и дерзки и смотрят жизни прямо в глаза. Они встречались с мужчиной лицом к лицу и пришли к выводу, что существо это довольно жалкое. Они убедились, что описания мужчины, имеющиеся в романах для железнодорожного чтения и рисующие его сказочным принцем, не находят себе подтверждения в действительности.

Вот такой девушкой и была Мэйми. Она вся переливалась жизнью, весельем и бойкостью; с гостями за словом в карман не лазила; помереть можно было со смеху, как она им отвечала. Я не люблю производить раскопки в недрах личных симпатий. Я придерживаюсь теории, что противоречия и несуразности заболевания, известного под названием любви, — дело такое же частное и персональное, как зубная щетка. По-моему, биографии сердец должны находить себе место рядом с историческими романами из жизни печени только на журнальных страницах, отведенных для объявлений. Поэтому вы мне простите, если я не представлю вам полного прейскуранта тех чувств, которые я питал к Мэйми.

Скоро я обзавелся привычкой регулярно являться в палатку в нерегулярное время, когда там поменьше народа. Мэйми подходила ко мне, улыбаясь, в черном платьице и белом переднике, и говорила: «Алло, Джефф, почему не пришли в положенное время? Нарочно опаздываете, чтобы всех беспокоить? Жареные-цыплята-бифштекс-свиные-отбивные-яичница-с-ветчиной» — и так далее. Она называла меня Джефф, но из этого ровно ничего не следовало. Надо же ей было как-нибудь отличать нас друг от друга. А так было быстрее и удобнее. Я съедал обыкновенно два обеда и старался растянуть их, как на банкете в высшем обществе, где меняют тарелки и жен и перекидываются шуточками между глотками. Мэйми все это сносила. Не могла же она устраивать скандалы и упускать лишний доллар только потому, что он прибыл не по расписанию.

Через некоторое время еще один парень, — его звали Эд Коллиер, — возымел страсть к принятию пищи в неурочное время, и благодаря мне и ему между завтраком и обедом и обедом и ужином были перекинуты постоянные мосты. Палатка превратилась в цирк с тремя аренами, и у Мэйми совсем не оставалось времени, чтобы отдохнуть за кулисами. Этот Коллиер был напичкан разными намерениями и ухищрениями. Он работал по части бурения колодцев, или по страхованию, или по заявкам, или черт его знает — не помню уж по какой части. Он был довольно густо смазан хорошими манерами и в разговоре умел расположить к себе. Мы с Коллиером развели в палатке атмосферу ухаживания и соревнования. Мэйми держала себя на высоте беспристрастности и распределяла между нами свои любезности, словно сдавала карты в клубе: одну мне, одну Коллиеру и одну банку. И ни одной карты в рукаве.

Мы с Коллиером, конечно, познакомились и иногда даже проводили вместе время за стенами палатки. Без своих военных хитростей он производил впечатление славного малого, и его враждебность была забавного свойства.

— Я заметил, что вы любите засиживаться в банкетных залах после того, как гости все разошлись, — сказал я ему как-то, чтобы посмотреть, что он ответит.

— Да, — сказал Коллиер подумав. — Шум и толкотня раздражают мои чувствительные нервы.

— И мои тоже, — сказал я. — Славная девочка, а?

— Вот оно что, — сказал Коллиер и засмеялся. — Раз уж вы сказали это, я могу вам сообщить, что она не производит дурного впечатления на мой зрительный нерв.

— Мой взор она прямо-таки радует, — сказал я. — И я за ней ухаживаю. Сим ставлю вас в известность.

— Я буду столь же честен, — сказал Коллиер. — И если только в аптекарских магазинах здесь хватит пепсина, я вам задам такую гонку, что вы придете к финишу с несварением желудка.

Так началась наша скачка. Ресторан неустанно пополняет запасы. Мэйми нам прислуживает, веселая, милая и любезная, и мы идем голова в голову, а Купидон и повар работают в ресторане Дьюгана сверхурочно.

Как-то в сентябре я уговорил Мэйми выйти погулять со мной после ужина, когда она кончит уборку. Мы прошлись немножко и уселись на бревнах в конце города. Такой случай мог не скоро еще представиться, и я высказал все, что имел сказать. Что бразильские брильянты и патентованные растопки дают мне доход, который вполне может обеспечить благополучие двоих, что ни те ни другие не могут выдержать конкуренцию в блеске с глазами одной особы и что фамилию Дьюган необходимо переменить на Питерс, — а если нет, то потрудитесь объяснить почему.

Мэйми сначала ничего не ответила. Потом она вдруг как-то вся передернулась, и тут я услышал кое-что поучительное.

— Джефф, — сказала она, — мне очень жаль, что вы заговорили. Вы мне нравитесь, вы мне все нравитесь, но на свете нет человека, за которого бы я вышла замуж, и никогда не будет. Вы знаете, что такое в моих глазах мужчина? Это могила. Это саркофаг для погребения в нем бифштексов, свиных отбивных, печенки и яичницы с ветчиной. Вот что он такое, и больше ничего. Два года я вижу перед собой мужчин, которые едят, едят и едят, так что они превратились для меня в жвачных двуногих. Мужчина — это нечто сидящее за столом с ножом и вилкой в руках. Такими они запечатлелись у меня в сознании. Я пробовала побороть в себе это, но не могла. Я слышала, как девушки расхваливают своих женихов, но мне это непонятно. Мужчина, мясорубка и шкаф для провизии вызывают во мне одинаковые чувства. Я пошла как-то на утренник, посмотреть на актера, по которому все девушки сходили с ума. Я сидела и думала, какой он любит бифштекс — с кровью, средний или хорошо прожаренный и яйца — в мешочек или вкрутую? И больше ничего. Нет, Джефф. Я никогда не выйду замуж. Смотреть, как он приходит завтракать и ест, возвращается к обеду и ест, является, наконец, к ужину и ест, ест, ест...

— Но, Мэйми, — сказал я, — это обойдется. Вы слишком много имели с этим дела. Конечно, вы когда-нибудь выйдете замуж. Мужчины не всегда едят.

— Поскольку я их наблюдала — всегда. Нет, я вам скажу, что я хочу сделать. — Мэйми вдруг воодушевилась, и глаза ее заблестели.

— В Терри-Хот живет одна девушка, ее зовут Сюзи Фостер, она моя подруга. Она служит там в буфете на вокзале. Я работала там два года в ресторане. Сюзи мужчины еще больше опротивели, потому что мужчины, которые едят на вокзале, едят и давятся от спешки. Они пытаются флиртовать и жевать одновременно. Фу! У нас с Сюзи это уже решено. Мы копим деньги и, когда накопим достаточно, купим маленький домик и пять акров земли. Мы уже присмотрели участок. Будем жить вместе и разводить фиалки. И не советую никакому мужчине подходить со своим аппетитом ближе чем на милю к нашему ранчо.

— Ну, а разве девушки никогда... — начал я.

Но Мэйми решительно остановила меня.

— Нет, никогда. Они погрызут иногда что-нибудь, вот и все.

— Я думал, конфе...

— Ради бога, перемените тему, — сказала Мэйми.

Как я уже говорил, этот опыт доказал мне, что женское естество вечно стремится к миражам и иллюзиям. Возьмите Англию — ее создал бифштекс; Германию родили сосиски, дядя Сэм обязан своим могуществом пирогам и жареным цыплятам. Но молодые девицы не верят этому. Они считают, что все сделали Шекспир, Рубинштейн и легкая кавалерия Теодора Рузвельта.

Этакое положеньице хоть кого могло расстроить. О разрыве с Мэйми не могло быть и речи. А между тем при мысли, что придется отказаться от привычки есть, мне становилось грустно. Я приобрел эту привычку слишком давно. Двадцать семь лет я слепо несся навстречу катастрофе и поддавался вкрадчивым зовам ужасного чудовища — пищи. Меняться мне было поздно. Я был безнадежно жвачным двуногим. Можно было держать пари на салат из омаров против пончика, что моя жизнь будет из-за этого разбита.

Я продолжал столоваться в палатке Дьюгана, надеясь, что Мэйми смилостивится. Я верил в истинную любовь и думал, что если она так часто превозмогала отсутствие приличной еды, то сумеет авось превозмочь и наличие оной. Я продолжал предаваться моему фатальному пороку, но всякий раз, когда я в присутствии Мэйми засовывал себе в рот картофелину, я чувствовал, что, может быть, хороню мои сладчайшие надежды.

Коллиер, по-видимому, тоже открылся Мэйми и получил тот же ответ. По крайней мере, в один прекрасный день он заказывает себе чашку кофе и сухарик, сидит и грызет кончик сухаря, как барышня в гостиной, которая предварительно напичкалась на кухне ростбифом с капустой. Я клюнул на эту удочку и тоже заказал кофе и сухарь. Вот хитрецы-то нашлись, а? На следующий день мы сделали то же самое. Из кухни выходит старина Дьюган и несет наш роскошный заказ.

— Страдаете отсутствием аппетита? — спросил он отечески, но не без сарказма. — Я решил сменить Мэйми, пускай отдохнет. Столик нетрудный, его и с моим ревматизмом можно обслужить.

Так нам с Коллиером пришлось опять вернуться к тяжелой пище. Я заметил в это время, что у меня появился совершенно необыкновенный, разрушительный аппетит. Я так ел, что Мэйми должна была проникаться ненавистью ко мне, как только я переступал порог. Потом уже я узнал, что я стал жертвою первого гнусного и безбожного подвоха, который устроил мне Эд Коллиер. Мы с ним каждый день вместе выпивали в городе, стараясь утопить наш голод. Этот негодяй подкупил около десяти барменов, и они подливали мне в каждый стаканчик виски хорошую дозу анакондовской яблочной аппетитной горькой. Но последний подвох, который он мне устроил, было еще труднее забыть.

В один прекрасный день Коллиер не появился в палатке. Один общий знакомый сказал, что он утром уехал из города. Таким образом, моим единственным соперником осталась обеденная карточка. За несколько дней до своего исчезновения Коллиер подарил мне два галлона чудесного виски, которое ему будто бы прислал двоюродный брат из Кентукки. Я имею теперь основания думать, что это виски состояло почти исключительно из анакондовской яблочной аппетитной горькой. Я продолжал поглощать тонны пищи. В глазах Мэйми я по-прежнему был просто двуногим, более жвачным, чем когда-либо.

Приблизительно через неделю после того, как Коллиер испарился, в город прибыла какая-то выставка вроде паноптикума и расположилась в палатке около железной дороги. Я зашел как-то вечером к Мэйми, и мамаша Дьюган сказала мне, что Мэйми со своим младшим братом Томасом отправилась в паноптикум. Это повторилось на одной неделе три раза. В субботу вечером я поймал ее, когда она возвращалась оттуда, и уговорил присесть на минуточку на пороге. Я заметил, что она изменилась. Глаза у нее стали как-то нежнее и блестели. Вместо Мэйми Дьюган, обреченной на бегство от мужской прожорливости и на разведение фиалок, передо мной сидела Мэйми, более отвечающая плану, в котором она задумана была Богом, и чрезвычайно подходящая для того, чтобы греться в лучах бразильских брильянтов и патентованных растолок.

— Вы, по-видимому, очень увлечены этой доселе непревзойденной выставкой живых чудес и достопримечательностей? — спросил я.

— Все-таки развлечение, — говорит Мэйми.

— Вам придется искать развлечения от этого развлечения, если вы будете ходить туда каждый день.

— Не раздражайтесь, Джефф! — сказала она. — Это отвлекает мои мысли от кухни.

— Эти чудеса не едят?

— Не все. Некоторые из них восковые.

— Смотрите не прилипните, — сострил я без всякой задней мысли, просто каламбуря.

Мэйми покраснела. Я не знал, как это понять. Во мне вспыхнула надежда, что, может быть, я своим постоянством смягчил ужасное преступление мужчины, заключающееся в публичном введении в свой организм пищи. Мэйми сказала что-то о звездах, в почтительных и вежливых выражениях, а я нагородил чего-то о союзе сердец и о домашних очагах, согретых истинной любовью и патентованными растопками. Мэйми слушала меня без гримас, и я сказал себе: «Джефф, старина, ты ослабил заклятие, которое висит над едоками! Ты наступил каблуком на голову змеи, которая прячется в соуснике!»

В понедельник вечером я опять захожу к Мэйми, Мэйми с Томасом опять пошли на непревзойденную выставку чудес.

«Чтоб ее побрали сорок пять морских чертей, эту самую выставку! — сказал я себе. — Будь она проклята отныне и вовеки! Аминь! Завтра пойду туда сам и узнаю, в чем заключается ее гнусное очарование. Неужели человек, который сотворен, чтобы унаследовать землю, может лишиться своей милой сначала из-за ножа и вилки, а потом из-за паноптикума, куда и вход-то стоит всего десять центов?»

На следующий вечер, прежде чем отправиться в паноптикум, я захожу в палатку и узнаю, что Мэйми нет дома. На сей раз она не с Томасом, потому что Томас подстерегает меня на траве, перед палаткой, и делает мне предложение.

— Что вы мне дадите, Джефф, — говорит он, — если я вам что-то скажу?

— То, что это будет стоить, сынок.

— Мэйми втюрилась в чудо, — говорит Томас, — в чудо из паноптикума. Мне он не нравится. А ей нравится. Я подслушал, как они разговаривали. Я думал — может быть, вам будет интересно. Слушайте, Джефф, два доллара — это для вас не дорого? Там, в городе, продается одно ружье, и я хотел...

Я обшарил карманы и вылил Томасу в шляпу поток серебра. Известие, сообщенное мне Томасом, подействовало на меня так, словно в меня заколотили сваю, и на некоторое время мысли мои стали спотыкаться. Проливая мелкую монету и глупо улыбаясь, в то время как внутри меня разрывало на части, я сказал идиотски-шутливым тоном:

— Спасибо, Томас... спасибо... того... чудо, говоришь, Томас? Ну а в чем его особенности, этого урода, а, Томас?

— Вот он, — говорит Томас, вытаскивает из кармана программу на желтой бумаге и сует мне ее под нос. — Он чемпион мира — постник. Поэтому, наверно, Мэйми и врезалась в него. Он ничего не ест. Он будет голодать сорок девять дней. Сегодня шестой... Вот он.

Я посмотрел на строчку, на которой лежал палец Томаса: «Профессор Эдуардо Коллиери».

— А! — сказал я в восхищении. — Это не худо придумано, Эд Коллиер! Отдаю вам должное за изобретательность. Но девушки я вам не отдам, пока она еще не миссис Чудо!

Я поспешил к паноптикуму. Когда я подходил к нему с задней стороны, какой-то человек вынырнул, как змея, из-под палатки, встал на ноги и полез прямо на меня, как бешеный мустанг. Я схватил его за шиворот и исследовал при свете звезд. Это был профессор Эдуардо Коллиери, в человеческом одеянии, со злобой в одном глазу и нетерпением в другом.

— Алло, Достопримечательность! — говорю я. — Подожди минутку, дай на тебя полюбоваться. Ну что, хорошо быть чудом нашего века, или бимбомом с острова Борнео, или как там тебя величают в программе?

— Джефф Питерс, — говорит Коллиер слабым голосом. — Пусти меня, или я тебя тресну. Я самым невероятным образом спешу. Руки прочь!

— Легче, легче, Эди, — отвечаю я, крепко держа его за ворот. — Позволь старому другу насмотреться на тебя всласть. Ты затеял колоссальное жульничество, сын мой, но о мордобое толковать брось: на это ты не годишься. Максимум того, чем ты располагаешь, — это довольно много наглости и гениально пустой желудок.

Я не ошибался: он был слаб, как вегетарианская кошка.

— Джефф, — сказал он, — я согласен был бы спорить с тобой на эту тему неограниченное количество раундов, если бы у меня было полчаса на тренировку и плитка бифштекса в два квадратных фута — для тренировки. Черт бы побрал того, кто изобрел искусство голодать! Пусть его на том свете прикуют навеки в двух шагах от бездонного колодца, полного горячих котлет. Я бросаю борьбу, Джефф. Я дезертирую к неприятелю. Ты найдешь мисс Дьюган в палатке: она там созерцает живую мумию и ученую свинью. Она чудная девушка, Джефф. Я бы победил в нашей игре, если бы мог выдержать беспищевое состояние еще некоторое время. Ты должен признать, что мой ход с голодовкой был задуман со всеми шансами на успех. Я так и рассчитывал. Но слушай, Джефф, говорят — любовь двигает горами. Поверь мне, это ложный слух... Не любовь, а звонок к обеду заставляет содрогаться горы. Я люблю Мэйми Дьюган. Я прожил шесть дней без пищи, чтобы потрафить ей. За это время я только один раз проглотил кусок съестного; это когда я двинул татуированного человека его же палицей и вырвал у него сэндвич, который он начал есть. Хозяин оштрафовал меня на все мое жалованье. Но я пошел сюда не ради жалованья, а ради этой девушки. Я бы отдал за нее жизнь, но за говяжье рагу я отдам мою бессмертную душу. Голод — ужасная вещь, Джефф. И любовь, и дела, и семья, и религия, и искусство, и патриотизм — пустые тени слов, когда человек голодает.

Так говорил мне Эд Коллиер патетическим тоном. Диагноз установить было легко: требования его сердца и требования желудка вступили в драку, и победило интендантство. Эд Коллиер мне, в сущности, всегда нравился. Я поискал у себя внутри какого-нибудь утешительного слова, но не нашел ничего подходящего.

— Теперь сделай мне удовольствие, — сказал Эд, — отпусти меня. Судьба крепко меня ударила, но я ударю сейчас по жратве еще крепче. Я очищу все рестораны в городе. Я зароюсь до пояса в филе и буду купаться в яичнице с ветчиной. Это ужасно, Джефф Питерс, когда мужчина доходит до такого: отказывается от девушки ради еды. Это хуже, чем с этим, как его? Исавом, который спустил свое авторское право за куропатку. Но голод — жестокая штука. Прости меня, Джефф, но я чую, что где-то вдалеке жарится ветчина, и мои ноги молят меня погнать их в этом направлении.

— Приятного аппетита, Эд Коллиер, — сказал я, — и не сердись на меня. Я сам создан незаурядным едоком и сочувствую твоему горю.

В эту минуту до нас вдруг донесся на крыльях ветерка сильный запах жареной ветчины. Чемпион-постник фыркнул и галопом поскакал в темноту к кормушке.

Жаль, что этого не видели культурные господа, которые вечно рекламируют смягчающее влияние любви и романтики! Вот вам Эд Коллиер, тонкий человек, полный всяких ухищрений и выдумок. И он бросил девушку, владычицу своего сердца, и перекочевал на смежную территорию желудка в погоне за гнусной жратвой. Это была пощечина поэтам, издевка над самым прибыльным сюжетом беллетристики. Пустой желудок — вернейшее противоядие от переполненного сердца.

Мне было, разумеется, чрезвычайно интересно узнать, насколько Мэйми ослеплена Коллиером и его военными хитростями. Я вошел внутрь палатки, в которой помещался непревзойденный паноптикум, и нашел ее там. Она как будто удивилась, но не выразила смущения.

— Элегантный вечерок сегодня на улице, — сказал я. — Такая приятная прохлада, и звезды все выстроились в первоклассном порядке, где им полагается быть. Не хотите ли вы плюнуть на эти побочные продукты животного царства и пройтись погулять с обыкновенным человеком, чье имя еще никогда не фигурировало на программе?

Мэйми робко покосилась в сторону, и я понял, что это значит.

— О, — сказал я. — Мне неприятно говорить вам это, но достопримечательность, которая питается одним воздухом, удрала. Он только что выполз из палатки с черного хода. Сейчас он уже объединился в одно целое с половиною всего съестного в городе.

— Вы имеете в виду Эда Коллиера? — спросила Мэйми.

— Именно, — ответил я. — И самое печальное то, что он опять ступил на путь преступления. Я встретил его за палаткой, и он объявил мне о своем намерении уничтожить мировые запасы пищи. Это невыразимо печальное явление, когда твой кумир сходит с пьедестала, чтобы превратиться в саранчу.

Мэйми посмотрела мне прямо в глаза и не отводила их до тех пор, пока не откупорила всех моих мыслей.

— Джефф, — сказала она, — это не похоже на вас — говорить такие вещи. Не смейте выставлять Эда Коллиера в смешном виде. Человек может делать смешные вещи, но от этого он не становится смешным в глазах девушки, ради которой он их делает. Такие люди, как Эд, встречаются редко. Он перестал есть исключительно в угоду мне. Я была бы жестокой и неблагодарной девушкой, если бы после этого плохо к нему относилась. Вот вы, разве вы способны на такую жертву?

— Я знаю, — сказал я, увидев, к чему она клонит, — я осужден. Я ничего не могу поделать. Клеймо едока горит у меня на лбу. Миссис Ева предопределила это, когда вступила в сделку со змием. Я попал из огня в полымя. Очевидно, я чемпион мира — едок.

Я говорил со смирением, и Мэйми немного смягчилась.

— У меня с Эдом Коллиером очень хорошие отношения, — сказала она, — так же, как и с вами. Я дала ему такой же ответ, как и вам: брак — это не для меня. Я любила проводить время с Эдом и болтать с ним. Мне было так приятно думать, что вот есть человек, который никогда не употребляет ножа и вилки и бросил их ради меня.

— А вы не были влюблены в него? — спросил я совершенно неуместно. — У вас не было уговора, что вы станете миссис Достопримечательность?

Это случается со всеми. Все мы иногда выскакиваем за линию благоразумного разговора. Мэйми надела на себя прохладительную улыбочку, в которой было столько же сахара, сколько и льда, и сказала чересчур любезным тоном:

— У вас нет никакого права задавать мне такие вопросы, мистер Питерс. Сначала выдержите сорокадевятидневную голодовку, чтобы приобрести это право, а потом я вам, может быть, отвечу.

Таким образом, даже когда Коллиер был устранен с моего пути своим собственным аппетитом, мои личные перспективы в отношении Мэйми не улучшились. А затем и дела в Гатри стали сходить на нет.

Я пробыл там слишком долго. Бразильские брильянты, которые я продал, начали понемногу снашиваться, а растопки упорно отказывались загораться в сырую погоду. В моей работе всегда наступает момент, когда звезда успеха говорит мне: «Переезжай в соседний город». Я путешествовал в то время в фургоне, чтобы не пропускать маленьких городков, и вот несколько дней спустя я запряг лошадей и отправился к Мэйми попрощаться. Я еще не вышел из игры. Я собирался проехать в Оклахома-Сити и обработать его в течение недели или двух. А потом вернуться и возобновить свои атаки на Мэйми.

И можете себе представить, — прихожу я к Дьюганам, а там Мэйми, прямо-таки очаровательная, в синем дорожном платье, и у двери стоит ее сундучок. Оказывается, что ее подруга Лотти Белл, которая служит машинисткой в Терри-Хот, в следующий четверг выходит замуж и Мэйми уезжает на неделю, чтоб стать соучастницей этой церемонии. Мэйми дожидается товарного фургона, который должен довезти ее до Оклахомы. Я обливаю товарный фургон презрением и грязью и предлагаю свои услуги по доставке товара. Мамаша Дьюган не видит оснований к отказу, — ведь за проезд в товарном фургоне надо платить, — и через полчаса мы выезжаем с Мэйми в моем легком рессорном экипаже с белым полотняным верхом и берем направление на юг.

Утро заслуживало всяческих похвал. Дул легкий ветерок, пахло цветами и зеленью, кролики забавы ради скакали, задрав хвостики, через дорогу. Моя пара кентуккийских гнедых так лупила к горизонту, что он начал рябить в глазах, и временами хотелось увернуться от него, как от веревки, натянутой для просушки белья. Мэйми была в отличном настроении и болтала, как ребенок, — о старом их доме, и о своих школьных проказах, и о том, что она любит, и об этих противных девицах Джонсон, что жили напротив, на старой родине, в Индиане. Ни слова не было сказано ни об Эде Коллиере, ни о съестном и тому подобных неприятных материях.

Около полудня Мэйми обнаруживает, что корзинка с завтраком, которую она хотела взять с собой, осталась дома. Я и сам был не прочь закусить, но Мэйми не выказала никакого неудовольствия по поводу того, что ей нечего есть, и я промолчал. Это было больное место, и я избегал в разговоре касаться какого бы то ни было фуража в каком бы то ни было виде.

Я хочу пролить некоторый свет на то, при каких обстоятельствах я сбился с дороги. Дорога была неясная и сильно заросла травой, и рядом со мной сидела Мэйми, конфисковавшая все мое внимание и весь мой интеллект. Годятся эти извинения или не годятся, это как вы посмотрите. Факт тот, что с дороги я сбился, и в сумерках, когда мы должны были быть уже в Оклахоме, мы путались на границе чего-то с чем-то, в высохшем русле какой-то не открытой еще реки, а дождь хлестал толстыми прутьями. В стороне, среди болота, мы увидели бревенчатый домик, стоявший на твердом бугре. Крутом него росла трава, чапарраль и редкие деревья. Это был меланхолического вида домишко, вызывавший в душе сострадание. По моим соображениям, мы должны были укрыться в нем на ночь. Я объяснил это Мэйми, и она предоставила решить этот вопрос мне. Она не стала нервничать и не корчила из себя жертвы, как сделало бы на ее месте большинство женщин, а просто сказала: «Хорошо». Она знала, что вышло это не нарочно.

Дом оказался необитаемым. В нем были две пустых комнаты. Во дворе стоял небольшой сарай, в котором в былое время держали скот. На чердаке над ним оставалось порядочно прошлогоднего сена. Я завел лошадей в сарай и дал им немного сена. Они посмотрели на меня грустными глазами, ожидая, очевидно, извинений. Остальное сено я сволок охапками в дом, чтобы там устроиться. Я внес также в дом бразильские брильянты и растопки, ибо ни те ни другие не гарантированы от разрушительного действия воды.

Мы с Мэйми уселись на фургонных подушках на полу, и я зажег в камине кучу растолок, потому что ночь была холодная. Если только я могу судить, вся эта история девушку забавляла. Это было для нее что-то новое, новая позиция, с которой она могла смотреть на жизнь. Она смеялась и болтала, а растопки горели куда менее ярким светом, чем ее глаза. У меня была с собой пачка сигар, и, поскольку дело касалось меня, я чувствовал себя как Адам до грехопадения. Мы были в добром старом саду Эдема. Где-то неподалеку в темноте протекала под дождем река Сион, и ангел с огненным мечом еще не вывесил дощечку «По траве ходить воспрещается». Я открыл гросс или два бразильских брильянтов и заставил Мэйми надеть их — кольца, брошки, ожерелья, серьги, браслеты, пояски и медальоны. Она искрилась и сверкала, как принцесса-миллионерша, пока у нее не выступили на щеках красные пятна и она стала чуть не плача требовать зеркала.

Когда наступила ночь, я устроил для Мэйми на полу отличную постель — сено, мой плащ и одеяла из фургона — и уговорил ее лечь. Сам я сидел в другой комнате, курил, слушал шум дождя и думал о том, сколько треволнений выпадает на долю человека за семьдесят примерно лет, непосредственно предшествующих его погребению.

Я, должно быть, задремал немного под утро, потому что глаза мои были закрыты, а когда я открыл их, было светло и передо мной стояла Мэйми, причесанная, чистенькая, в полном порядке, и глаза ее сверкали радостью жизни.

— Алло, Джефф, — воскликнула она. — И проголодалась же я! Я съела бы, кажется...

Я посмотрел на нее пристально. Улыбка сползла с ее лица, и она бросила на меня взгляд, полный холодного подозрения. Тогда я засмеялся и лег на пол, чтобы было удобнее. Мне было ужасно весело. По натуре и по наследственности я страшный хохотун, но тут я дошел до предела. Когда я высмеялся до конца, Мэйми сидела, повернувшись ко мне спиной и вся заряженная достоинством.

— Не сердитесь, Мэйми, — сказал я. — Я никак не мог удержаться. Вы так смешно причесались. Если бы вы только могли видеть...

— Не рассказывайте мне басни, сэр, — сказала Мэйми холодно и внушительно. — Мои волосы в полном порядке. Я знаю, над чем вы смеялись. Посмотрите, Джефф, — прибавила она, глядя сквозь щель между бревнами на улицу.

Я открыл маленькое деревянное окошко и выглянул. Все русло реки было затоплено, и бугор, на котором стоял домик, превратился в остров, окруженный бушующим потоком желтой воды ярдов в сто шириною. А дождь все лил. Нам оставалось только сидеть здесь и ждать, когда голубь принесет нам оливковую ветвь. Я вынужден признаться, что разговоры и развлечения в этот день отличались некоторой вялостью. Я сознавал, что Мэйми опять усвоила себе слишком односторонний взгляд на вещи, но не в моих силах было изменить это. Сам я был пропитан желанием поесть. Меня посещали котлетные галлюцинации и ветчинные видения, и я все время говорил себе: «Ну, что ты теперь скушаешь, Джефф? Что ты закажешь, старина, когда придет официант?» Я выбирал из меню самые любимые блюда и представлял себе, как их ставят передо мною на стол. Вероятно, так бывает со всеми очень голодными людьми. Они не могут сосредоточить свои мысли ни на чем, кроме еды. Выходит, что самое главное — это вовсе не бессмертие души и не международный мир, а маленький столик с кривоногим судком, фальсифицированным вустерским соусом и салфеткой, прикрывающей кофейные пятна на скатерти.

Я сидел так, пережевывая, увы, только свои мысли и горячо споря сам с собой, какой я буду есть бифштекс — с шампиньонами или по-креольски. Мэйми сидела напротив, задумчивая, склонив голову на руку. «Картошку пусть изжарят по-деревенски, — говорил я сам себе, — а рулет пусть жарится на сковородке. И на ту же сковородку выпустите девять яиц». Я тщательно обыскал свои карманы, не найдется ли там случайно земляной орех или несколько зерен кукурузы.

Наступил второй вечер, а река все поднималась и дождь все лил. Я посмотрел на Мэйми и прочел на ее лице тоску, которая появляется на физиономии девушки, когда она проходит мимо будки с мороженым. Я знал, что бедняжка голодна, может быть, в первый раз в жизни. У нее был тот озабоченный взгляд, который бывает у женщины, когда она опоздает на обед или чувствует, что у нее сзади расстегнулась юбка.

Было что-то вроде одиннадцати часов. Мы сидели в нашей потерпевшей крушение каюте, молчаливые и угрюмые. Я откидывал мои мозги от съестных тем, но они шлепались обратно на то же место, прежде чем я успевал укрепить их в другой позиции. Я думал обо всех вкусных вещах, о которых когда-либо слышал. Я углубился в мои детские годы и с пристрастием и почтением вспоминал горячий бисквит, смоченный в патоке, и ветчину под соусом. Потом я поехал вдоль годов, останавливаясь на свежих и моченых яблоках, оладьях и кленовом сиропе, на маисовой каше, на жаренных по-виргински цыплятах, на вареной кукурузе, свиных котлетах и на пирогах с бататами, и кончил брунсвикским рагу, которое есть высшая точка всех вкусных вещей, потому что заключает в себе все вкусные вещи.

Говорят, перед глазами утопающего проходит вся его жизнь. Может быть. Но когда человек голодает, перед ним встают призраки всех съеденных им в течение жизни блюд. И он изобретает новые блюда, которые создали бы карьеру повару. Если бы кто-нибудь потрудился собрать предсмертные слова людей, умерших от голода, он, вероятно, обнаружил бы в них мало чувства, но зато достаточно материала для поваренной книги, которая разошлась бы миллионным тиражом.

По всей вероятности, эти кулинарные размышления совсем усыпили мой мозг. Без всякого на то намерения я вдруг обратился вслух к воображаемому официанту:

— Нарежьте потолще и прожарьте чуть-чуть, а потом залейте яйцами — шесть штук, и с гренками.

Мэйми быстро повернула голову. Глаза ее сверкали, и она улыбнулась.

— Мне среднеподжаренный, — затараторила она, — и с картошкой и три яйца. Ах, Джефф, вот было бы замечательно, правда? И еще я взяла бы цыпленка с рисом, крем с мороженым и...

— Легче! — перебил я ее. — А где пирог с куриной печенкой, и почки сотэ на крутонах, и жареный молодой барашек, и...

— О, — перебила меня Мэйми, вся дрожа, — с мятным соусом... И салат с индейкой, и маслины, и тарталетки с клубникой, и...

— Ну, ну, давайте дальше, — говорю я. — Не забудьте жареную тыкву, и сдобные маисовые булочки, и яблочные пончики под соусом, и круглый пирог с ежевикой...

Да, в течение десяти минут мы поддерживали этот ресторанный диалог. Мы катались взад и вперед по магистрали и по всем подъездным путям съестных тем, и Мэйми заводила, потому что она была очень образованна насчет всяческой съестной номенклатуры, а блюда, которые она называла, все усиливали мое тяготение к столу. Чувствовалось, что Мэйми будет впредь на дружеской ноге с продуктами питания и что она смотрит на предосудительную способность поглощать пищу с меньшим презрением, чем прежде.

Утром мы увидели, что вода спала. Я запряг лошадей, и мы двинулись в путь, шлепая по грязи, пока не наткнулись на потерянную нами дорогу. Мы ошиблись всего на несколько миль, и через два часа уже были в Оклахоме. Первое, что мы увидели в городе, была большая вывеска ресторана, и мы бегом бросились туда. Я сижу с Мэйми за столом, между нами ножи, вилки, тарелки, а на лице у нее не презрение, а улыбка — голодная и милая.

Ресторан был новый и хорошо поставленный. Я процитировал официанту так много строк из карточки, что он оглянулся на мой фургон, недоумевая, сколько же еще человек вылезут оттуда.

Так мы и сидели, а потом нам стали подавать. Это был банкет на двенадцать персон, но мы и чувствовали себя, как двенадцать персон. Я посмотрел через стол на Мэйми и улыбнулся, потому что вспомнил кое-что. Мэйми смотрела на стол, как мальчик смотрит на свои первые часы с ключиком. Потом она посмотрела мне прямо в лицо, и две крупных слезы показались у нее на глазах. Официант пошел на кухню за пополнением.

— Джефф, — говорит она нежно, — я была глупой девочкой. Я неправильно смотрела на вещи. Я никогда раньше этого не испытывала. Мужчины чувствуют такой голод каждый день, правда? Они большие и сильные, и они делают всю тяжелую работу, и они едят вовсе не для того, чтобы дразнить глупых девушек-официанток, правда? Вы раз сказали... то есть... вы спросили меня... вы хотели... Вот что, Джефф, если вы еще хотите... я буду рада... я хотела бы, чтобы вы всегда сидели напротив меня за столом. Теперь дайте мне еще что-нибудь поесть, и скорее, пожалуйста.

— Как я вам и докладывал, — закончил Джефф Питерс, — женщине нужно время от времени менять свою точку зрения. Им надоедает один и тот же вид — тот же обеденный стол, умывальник и швейная машина. Дайте им хоть какое-то разнообразие — немножко путешествий, немножко отдыха, немножко дурачества вперемежку с трагедиями домашнего хозяйства, немножко ласки после семейной сцены, немножко волнения и тормошни — и, уверяю вас, обе стороны останутся в выигрыше.